

THE WORK OF RETURNING THE MEANING:
FORMER OSTARBEITERS' LIFE-STORIES

In this article, while analysing the life stories of former ostarbeiters, forced labourers in the Nazi Germany during the second world war, I focus on the “not-connectedness and incompleteness” as biographical trauma, and on the biographants’ efforts at trauma compensation and return of meaning. The concept of trauma is linked here to the catastrophic experience and desubjectivization. The analysis of the interviews reveals not only the destructive effect of socio-historical events on the biographies of the narrators, but also narrators’ strategies in overcoming the biographical gaps, both within the plane of their life paths and within the narrative plane of life stories.

Аспекти й дихотомії: усна історія та владні відносини

Наталья ПУШКАРЕВА

УСТНАЯ ИСТОРИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Рождение «устной истории» как направления развития наших знаний о прошлом связывают с именем американского профессора, работавшего в Колумбийском университете — Алана Невинса — который еще в 1938 г. призвал своих коллег создать организацию, «которая систематически собирала бы и записывала устные рассказы, а также мемуары видных американцев об их участии в общественной, политической, экономической и культурной жизни страны». Через 10 лет, в 1948 г., по его инициативе в Колумбийском университете был создан «Кабинет устной истории» для записи мемуаров людей, сыгравших значительную роль в жизни Америки¹.

Таким образом, идея найти способ обрести знания о прошлом на основе записей устных рассказов, прямо скажем, не нова. На записи устных рассказов опирались и те, кто создавал свои «истории» полтора-два века тому назад. В нашей стране такой путь получения исторической информации более привычен этнографам, нежели историкам. Впрочем, когда письменных источников не хватало, и историки поначалу не отставали. Уже в первые годы советской власти, сразу после революции и Гражданской войны, начался сбор воспоминаний их участников, а с 1931 г. необходимый импульс получил и проект создания «Истории фабрик и заводов» — и тоже (в том числе) на основании устных воспоминаний и рассказов².

Однако во всей мировой историографии (и российская оказалась, к сожалению, не исключением) признание устной истории *равноправным и равноценным методом получения знаний о прошлом*, который породил свое, по сути — самостоятельное исследовательское направление³, относится не ранее, чем к последней четверти XX в., если не к последнему 20-летию.

Итоги развития этого направления, размышления о причинах долгой непопулярности устной истории в нашей историографии подведены к настоящему времени во множестве публикаций, в том числе в центральных научных журналах⁴. Кратко назову лишь некоторые из упреков, которые предъявляли устным историкам: притязания на равноправность (в сравнении с письменными, документальными свидетельствами), к которой сторонники устной истории никогда и не стремились, централизованность

на эмоциональной окраске события (нежели на нем самом), на значении факта или явления, а не на факте или явлении как таковом, а отсюда — «необъективность», сиречь пристрастность. (Тема *объективности* — вообще «священная корова» традиционного историописания! Прикосновение к ней, отрицание ее возможности, допустимость необъективности в научном-то сочинении — равно почти смерти его автора, остракизму, исключению...) Отсутствие единого предмета исследования, наличие множественности точек зрения — все это составляющие «устной истории», которые и делают ее интересной и которые так препятствуют принятию ее в «приличное общество» традиционных исторических направлений и устоявшихся тем⁵.

Что касается «гендерной истории», гендерного аспекта реконструкции прошлого и гендерного подхода в работе с источниками, то (как ни парадоксально) это направление также начало складываться еще до Второй мировой войны, обрело понятийный аппарат в 1950–1960-е гг., а оформилось в признанное научное направление на Западе примерно 20–30 лет назад. Иными словами, оно прошло ровно те же этапы и имеет примерно ту же (в хронологическом смысле) историю.

Поясню эти положения конкретными фактами.

«Женская тема в истории» — как и устная история революции и Гражданской войны — родились еще до Второй мировой. Первый призыв написать «историю женщин», выделить во всеобщей истории как отдельные составляющие «истории полов» прозвучал в 1933 г. на VII Международном конгрессе историков. Именно там был заслушан доклад польской исследовательницы Л. Харевичовой «Возможно ли написать специальную историю женщины?». В прениях по докладу говорилось о необходимости создания работ по истории социального положения женщин в разных странах в различные эпохи. Л. Харевичова готовила к изданию монографию о женщине польского средневековья, но ее выходу в свет помешала война и смерть исследовательницы в фашистском застенке⁶.

Должны были пройти несколько десятилетий, чтобы термин «гендер», введенный американскими учеными сексологом Джоном Мани и психоаналитиком Робертом Столлером⁷ в 1950-е — наконец-то обрел права гражданства в гуманитарном знании. На волне молодежной и сексуальной революций конца 1960-х, в условиях утверждения «женской темы в истории» и благодаря рождению «женских исследований» (в истории в том числе), появился призыв переписать историю с учетом вызовов времени, учесть гендерный фактор. Таким образом, как направление изучения прошлого гендерный подход в исторических науках утвердился не ранее начала 1970-х гг., когда сформировалось направление W&GS в гуманитаристике и, на новой волне женского движения на Западе, началось сближение теоретического феминизма, феминистской эпистемологии и истории⁸.

В российской науке и об устной истории как равноправном с иными способе сбора данных и методе реконструкции прошлого, и о женской и гендерной истории как самостоятельных направлениях изучения ушедших эпох отдельные ученые знали, возможно, давно. Кто-то бывал за зарубежных конференциях и конгрессах, кто-то в меру сил и возможностей продвигал свои исследования в духе этих прогрессивных начинаний.

Но реальная институционализация этих направлений началась только после преодоления предписываемого всем научного единомыслия, то есть с конца 1980-х — в 1990-е гг. Едва марксизм негласно отступил от своих притязаний на главенствующее положение, едва «из центра» перестали диктовать, какими источниками можно и должно пользоваться, а какие и источниками считаться не могут, так тут же в нашей науке (и не только исторической) началось активное обсуждение новых способов получения исторического знания — с учетом фактора пола, с учетом субъективного видения событий отдельным индивидом...

Биографические источники предстали неким новым измерением социального опыта, которым ранее в нашей историографии пренебрегали. Внимание к биографии совпало (а в известной степени сопровождалось) бурными спорами в отечественной гуманитаристике о роли и месте «качественной исследовательской парадигмы» в социологии. Во время тех споров феминистские теоретики были записаны в один лагерь с этнометодологами, марксистами нового поколения (Л. Альтюссером), а также всеми «антинатуралистами» и методологическими релятивистами⁹. И само по себе это было не плохо и в каком-то смысле справедливо, ведь все они искали пути, как написать картину общества по-новому. Ясно одно: всего 15–20 лет назад не только «устная история» была под подозрением как продуцирующая не слишком проверенные факты, а потому далекая от репрезентативности и пресловутой научной объективности (в верности ей было принято клясться в каждой диссертации), но и кажущаяся поначалу незатейливой и иллюстративной история женщин и их взаимоотношений с мужчинами.

«Конец невинности» для женской истории наступил тогда, когда она теснейшим образом соприкоснулась с теоретическим феминизмом, и именно он дал ей (и гендерной истории) новый импульс, отход от описательности, глубокую аналитичность.

Феминистская критика социальной науки заставила увидеть в отношениях мужчин и женщин на протяжении веков отношения господства и подчинения. Ею было введено и часто используемое ныне понятие гендерного порядка. Вслед за Р. Коннелом¹⁰, гендерным порядком именуется социальный порядок, для которого характерно неравное распределение благ и престижа по признаку пола¹¹. Это неравенство прослеживается и в науке, и вообще в получении и распределении знания. «Женской истории» до поры до времени не было не потому, что женщины значили меньше, чем мужчины, и совсем не потому, что их история была тождественна истории мужской или всеобщей, а потому, что веками и тысячелетиями доступ к познавательным ресурсам представлялся жестко структурированным и организованным в интересах сохранения мужского господства: мужчины определяли, *что* важно и *что* существенно и требует изучения (и в обществе, и в науке, и во всех исторических интерпретациях фактов и явлений). Женский социальный опыт казался неважным, женское видение мира и женская система ценностей считалась инвариантом общечеловеческой (мужской), а потому специальное изучение этих вопросов представало ненужным.

Феминистская методология поставила под сомнение объективность сложившейся — а это значит: «мужской» — интерпретации прошлого и настоящего, раскритиковала преимущественное право лидеров традиционной науки («патриархов»)

означать, классифицировать, интерпретировать эмпирические данные, указывать на одни из них как важные и репрезентативные, а на другие — как на ничего не значащие и второстепенные. И в этом смысле она оказалась близка и устной истории и, фигурально выражаясь, протянула ей руку дружбы. Вместе с устной историей, женская история (а вместе с ней и микроистория, и история повседневности обычных, неродовитых, неизвестных людей) стали попыткой вернуть индивидам их способ понимания пережитого. А он оказался очень отличным от общепринятого, от *общего*, потребовал соотнесения с последним, с нормами и смыслами этого *общего* проявлений индивидуального (у феминологов: прежде всего самого неартикулированного, более скрытого — женского) восприятия.

Убежденность феминистских теоретиков в существенности качественного понимания социальных явлений²², дополненная гуманистическим идеалом (право каждой социальной группы на свое мировидение и, следовательно, свою историю) привела их в лагерь «новой социальной истории». В этом же лагере в настоящий момент можно обнаружить сторонников микроистории, исторической биографики, имагологов (изучающих образы, в том числе образы и представления народов друг о друге), повседневноведов, которые желают «видеть историю в зеркале быта»²³, а также сторонников направления устной истории. Новый подход к источнику и новые темы, рожденные эпохой постмодерна, выразился и в том, что явления (как и факты) стали изучаться наиболее подходящими методами, и исследователи подчас перестали задумываться над тем, какой дисциплине эти методы принадлежат. Это означало подлинную междисциплинарность, отрицание барьеров, созданных каждой наукой, равно как отвержение прежних позитивистских схем... Новые методы и подходы впервые заставили исследователей задуматься о возможности асинхронии (неодновременности) личных и общественных переживаний.

И устная история, и гендерный подход к текстам, ею аккумулируемым, — это новые *инструменты*, новые орудия интерпретации прошлого, которое уже давно не выглядит «клубком», который разматывается в общую, единую для всех бесконечную нить. Современные историки воспринимают прошлое не как «клубок», а как — конечно, вслед за Ю. М. Лотманом, — «лавину саморазвивающегося живого вещества», стараясь привлечь во внимание альтернативы, перекрестки, моменты выбора пути, когда нельзя предсказать дальнейшее развитие. Такой подход невозможен без учета мнений отдельных, подчас незначимых для прежней истории людей²⁴, без устной истории, которая рождает и новую просопографику. С помощью устной истории восстанавливаются истории важных социальных событий, трудно реконструируемые по письменным источникам или искаженно (неполно) зафиксированные ими²⁵ (история голода в Украине и Поволжье в 1930-е гг., репрессии, некоторые типы миграций и вынужденных перемещений, это и «другая история известного» — периодов индустриализации, коллективизации, ленинградской блокады, история сталинизма, нацизма). Незаменимой устная история оказывается и в реконструкции совсем недавних страниц нашего прошлого, поскольку живы ее носители²⁶. «Устная история армейской службы в постсоветской России» — это история экзистенциальных переживаний современных молодых

россиян на фоне «эпохи перемен». Совершенно не фиксируемое современными культурологами прошлое и настоящее российской сексуальной культуры в XX в. — это не «что-то такое, больше относящееся к медицине», а история социокультурного феномена и его трансформаций в новейшее время, которая была бы невозможна без устных свидетельств²⁷.

Собственно, в неоднозначности оценок прошлого, которое дарят исследователю *те*, что собирают живые свидетельства памяти отдельных индивидов (которые могут очень различаться с общей, усредненной оценкой), и *те*, что заставляют услышать голоса женщин (которые опять-таки могут не совпадать с голосами тех, кто формирует наше знание), — главная значимость этих двух направлений для науки. Неинституированность памяти, ее *неофициальность*, возможная непризнанность оценок — все это роднит устную историю и историю, написанную с применением методов гендерной экспертизы фактов и явлений. В условиях политизации, идеологизации науки (что типично для XX в. и современности) устная история, включая устную женскую историю — это возможность сохранить без искажений слово правды и справедливости, возможность донесения до читателя голосов «молчаливого большинства»²⁸.

Один из примеров, связанных с историей пережитой нашей страной Великой Отечественной войной и участием в ней женщин. Для начала отметим, что (несмотря на кажущуюся изученность темы), масса цифр остается по сей день закрытой. Однако мы знаем, что участвовало примерно 800 000 женщин, что около 8 % личного состава составляли женщины (в партизанском движении — 9,8 %, т. е. около 28 000²⁹). А вот какая была мотивация женского добровольчества? Если судить по официальным документам и СМИ, то мотивом был патриотический порыв, сконструированный еще в предвоенные годы, отчасти — стремление отомстить за погибших родственников или мужа, последовать примеру родителей и реализовать семейный этический кодекс. А анализ устных женских рассказов о войне позволяет выявить «трудно классифицируемое разнообразие»²⁰. Женщины вспоминают сейчас, что ими двигало чувство самосохранения, стремление выжить, сердечная привязанность к командиру и вспыхнувшее вопреки войне чувство²¹.

Это совсем иная история, иная картина войны...

* * *

Общим для устной истории и ее гендерного варианта (записи рассказов гендерно-сегрегированных групп, мужчин отдельно от женщин для сравнения их жизненных опытов и впечатлений) является и ориентация *не на экспертов* в какой-либо среде (а так было всегда принято²²), а на рядовых, обычных людей как информантов²³. Они интересней, выбирают не только культурно маркированные ситуации и процессы, но готовы рассказать о любом фрагменте повседневности. При этом приверженцы устной и гендерной истории оставляют в стороне и требования статистики, и идею массовости.

И чем же тогда приверженец устной истории, повседневновед, гендеролог отличен от этнографа? Отличие — в отношении к жизненному пути информанта. Этнограф

собирает только то, что касается его темы; приверженца устной истории отличает желание узнать, как конкретные события жизни страны и общества прокатились по жизненному пути данного человека, который не просто носитель «ФИО, возраста, пола», но семейной истории, вписанный в общий контекст страны. И первыми такое научное любопытство проявили именно гендерологи, собиравшие устные истории женщин²⁴.

Когда употребляется понятие гендерного аспекта устной истории, гендерной экспертизы прозвучавших и записанных текстов, то предполагается, что аналитик будет не просто фиксировать принадлежность того или иного текста мужчине или женщине, но сможет это знание использовать для получения более разносторонней, углубленной информации. Из сказанного вытекает **желание понять, умение сопереживать** изучаемому объекту. Эти желания и умения связывают феминистских теоретиков со сторонниками этнографического метода «включенного наблюдения», биографического метода, плотного (или насыщенного) описания²⁵ и «гуманной социологии»²⁶.

Шведская исследовательница М. Хиден, обосновывая различия мужского и женского подходов к самому сбору информации, обратила внимание и на его последствия: мужчины акцентировали внимание на цели («почему/зачем он так делал»), в то время как женщины подчеркивали обстоятельства («как он это делал») и последствия акта, как физические, так и эмоциональные. Таким образом, выявились совершенно разные пласты в рассказах об одном и том же²⁷. Таким образом, микроистория биографических рассказов возвращает индивидам — мужчинам и женщинам — их собственный способ понимания пережитого. А он отличен — и от общего, коллективного, и мужской/женский друг от друга.

Специфика качественных методов (или качественного подхода) в общей социологии в том, что его сторонники постоянно имеют дело с идеографическим — то есть с теми символами и знаками, которые обозначают индивидуальную неповторимость данной жизненной истории, индивидуальный рассказ о себе, индивидуальный текст, индивидуальные совокупности практик. Сторонницы направления женской и гендерной истории идут дальше. В их исследованиях идеографического также присутствует акцент на теме неповторимости, индивидуальности, но он — иной, поскольку преодолевает арrogантность (надменность) обычного социологического описания отдельных судеб.

Ведь обычный исследователь индивидуального может себе позволить наблюдать за сценой социального театра как бы со стороны, из «царской ложи», с исторически безопасного расстояния. Он может себе позволить писать о жизни своих соотечественников как о «чужих» (например, именуя человека-современника «homo soveticus», а жизнь, его окружавшую, называть «советским зверинцем»), будто он сам — не в этой общей истории, будто история вокруг не него — не встроена в его собственную жизнь, тело, язык, как будто он — не наследник свершившихся событий, а у него самого как бы нет биографии. Да еще будет в этом случае хвастаться своей объективностью, тем, что

он — всезнающий, лишенный чувств эксперт, холодным взором окидывающий предмет своего изучения.

Исследователь (чаще — исследовательница), разделяющий феминистскую способность к пониманию и вчувствованию, такого не допустит²⁸.

Исследователь (-ница) биографий и восстанавливающая историю с феминистских позиций прежде всего историоризирует самого(саму) себя — обозначая время и место в пространстве и на шкале времени, в котором совершается исследование, *высказываясь* в качестве участника (-цы) и не пытаясь вещать с позиций «абсолютно объективного исследователя», демиурга Великой науки, Разума или Истории. Феминистский исследователь (-ница) выявляет умолчания, биографические моменты, где возникает повторная травма (когда о чем-то спрашивают, а рассказать трудно, почти невозможно) — и далее: он/она — переживают и сопереживают рассказчику (-це).

И тем они категорически отличны от обычного аналитика.

И тем феминистский метод отличен от того, что излагается в большинстве учебников.

Все сообщенное информантами, **соотносится** феминистским исследователем **с личной биографией**; обращение же к собственному жизненному пути доступно каждому — и тому, кто наблюдает социум извне, и — в особенности — тому, кто в нем живет. Этот методический прием — лучший способ избежать суждения, диктуемого привилегированной позицией (мол, «я лучше тех, кого описываю, знаю их жизни»). Ученый старшего поколения, пишущий с таких позиций, уже поостережется считать себя, скажем, принадлежностью «совка» или «советского зверинца»: ведь в этом «зверинце» была проведена большая часть его единственной и неповторимой жизни²⁹.

Исследовательницы, разделяющие феминистские подходы понимающей (гуманной) социальной антропологии, призывают постоянно учитывать собственную включенность в процесс — в ту самую историю, которую рассказывают в своих жизненных историях информанты. Только тогда обнаружится то, чего нет у исследователя, желающего писать и видеть процессы как бы со стороны, извне: пишущий о своем, о своей включенности в культуру и историю, сам обладает «памятью тела». Каждый из нас, какие бы проблемы ни изучал и с каким бы периодом огромной человеческой истории ни связывал свою научную биографию, еще и обладает памятью своего тела, наполненного немотой воспоминаний, тела маркированного, нагруженного уже свершившейся историей, в этой памяти и запахи, и визуальные аллюзии, и личные душевные переживания, оказавшиеся неожиданно похожими на чьи-то еще в этом, давно свершившемся, прошлом. Именно потому, что каждый обладает этой памятью тела, воспроизведение ее приносит *радость обретения действительности* (хранившееся в дальних уголках памяти, неожиданно воскрешенное совпадениями, реализуется, всплывает на поверхности, даря исследователю радость). И это — та дополнительная информация, которую годами избегали сообщать историки, пишущие на темы, которые их глубоко волновали.

Феминистски ориентированные исследователи, стремящиеся побудить женщин говорить о себе (ведь женщины обрели право говорения много позже, чем мужчины, в России — не ранее XVIII в., до этого женские эгодокументы почти не известны), рассказывать больше,

проговаривать пережитое, по сути, превращают устную историю в воспитательную и даже манипуляторскую практику³⁰. Но не стоит сбрасывать со счета в этом контексте: говоря о себе, рассказывая женщинам о своих проблемах, женщины учатся оказывать поддержку друг другу, «жить решительно»³¹. Женская устная история — огромный ресурс пробуждения женского социального самосознания.

Не забывая, что сверхзадачей любого социального исследования является изучение сети социальных связей (а не просто суммы казусов, отдельных судеб), гендероги, работающие с материалами устных жизненных историй (прежде всего автобиографий — записанных или рассказанных устно) не оставляют надежды выявить специфику повторяющихся форм человеческих взаимодействий через понимание присущего им субъективного смысла. Ведь социальные отношения складывающиеся в разных областях (например, в научном сообществе) не зависят от сознания и воли отдельного человека (хотя иногда он тщится повлиять на них, особенно если занимает властные позиции). Можно сказать и так: они оказывают структурное принуждение. Поэтому изучение женских эгодокументов, женских жизненных сценариев предпринимается, чтобы увидеть, как за кажущимися случайностями жизни, очень индивидуальными жизненными путями и предстоящими добровольными решениями скрывается социально-структурирующее начало. Спектр альтернатив не бесконечен, и не случайно — поэтому — очень часто необходимость выдается за добродетель. Не стоит забывать и того, что современный исследователь изучает прошлое России, исходя из «участвующего» или «включенного наблюдения» ее постсоветского настоящего.

В чем сложность использования устных рассказов, какой бы суперсовременный понятийный аппарат мы ни вовлекали в свое дело (я имею в виду понятия *дискурс*, *рутина*, *обиход*, *повседневные практики*, *интерсубъективные коммуникации*, *интенции*, *эмпатия*, *герменевтика* и т. д.)? Сложность — в балансе описательности и проблематизации. Как формализовывать полученную информацию? Как систематизировать и проблематизировать ее? Зачем историку эта сумма казусов и уникальных жизней? Как их вписать в макроконтекст? На каком этапе остановиться и прекратить сбор записей, считая полученный материал необходимым и достаточным для достоверных выводов?

Ответ — у этнографов. У них есть простое правило. Любой элемент повседневной культуры достоин исследовательского внимания, если он встречается неоднократно (не менее трех раз) в условиях полевых наблюдений или у разных информантов. Этнографы пришли к нему чисто опытным путем³². Социологи в аналогичных ситуациях пользуются методом триангуляции — используют несколько исследовательских методов как способа получения более достоверных эмпирических данных по сравнению с результатами, получаемыми при применении какого-либо одного метода в отдельности³³. Если элемент повседневной культуры выявлен при анализе разных источников и при перепроверке разными методами (устной истории и истории традиционной, основанной на письменных свидетельствах) — значит, вывод верен.

Значимость новых — обоснованных гендерной теорией — подходов в том, что они утверждают неполноту, частичность любой точки зрения, настаивают на необходимо-

сти полифонии репрезентаций, где нарративный анализ с позиций эмпатии (сопереживания) — не папеца, а всего лишь один из подходов, полезное дополнение к классическому научному знанию. Мелкое — оно столь же важное, оно требует интерпретации в не меньшей мере, чем уже неоднократно «обкатанное» в известных моделях.

Благодаря устной истории мы пересматриваем окостеневшие макротейории.

Кроме того — кто будет спорить? — действительно Большая Наука делается на целине, а не в изъезженной колее. Она не живет среди трусости, невежества и конформизма.

Тот, кто работает с материалами устной истории, в особенности — если он (или она) феминистски-ориентированы, если они в ладах с гендерной теорией, — уже бесстрашны, уже мало зависимы от оценок «свыше» и потому продуцируют более совершенное научное знание³⁴.

¹ Бэрг М. П. Устная история в США//Новая и новейшая история. 1976. № 6. С. 213.

² Орлов И. Б. Устная история: генезис и перспективы развития//Отечественная история. 2006. № 2. С. 136–148.

³ В связи с развернувшейся на конференции в декабре 2009 г. дискуссией о том, как точнее определить место *устной истории* в системе гуманитарного знания, еще раз подчеркну, что она является методом, породившим целое направление в исторических науках, — но никак не дисциплину. *Устная история* не может быть уравнена с другими вспомогательными историческими дисциплинами (скажем, эпиграфикой, нумизматикой, источниковедением, дипломатикой) поскольку не имеет своего — отличного от обычной истории — предмета изучения. Именно поэтому биографика — это дисциплина в гуманитарном знании (пусть не признанная всеми), а метод просопографический — это только метод, хоть и основанный на биографиях и так тесно с биографикой связанной (*просопос* — личность, *графо* — пишу).

⁴ Урсу Д. П. Методологические проблемы устной истории//Источниковедение отечественной истории. М., 1989. С. 16.

⁵ Подробнее см.: Пассерини Л. В чем специфика устной истории?//Женская устная история. Бишкек, 2004. С. 15–31.

⁶ Подробнее см.: Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. С. 197.

⁷ В 1955 г. выдающийся сексолог Джон Мани, которому при изучении гермафродитизма и транссексуализма потребовалось разграничить общеполовые свойства, пол как фенотип, от сексуально-генитальных, сексуально-эротических и сексуально-прокреативных качеств ввел понятие «гендер», однако в большинстве современных работ слава первооткрывателя новой дефиниции приписана не ему, а Роберту Столлеру. В 1958 г. в университете Калифорнии в Лос-Анжелесе открылся центр по изучению гендерного самоосознания, занимавшийся проблемами транссексуализма. Сотрудник этого центра психоаналитик Роберт Столлер обобщил результаты своей работы в нескольких книгах, активно используя этот термин для обозначения понятия «пол в социальном контексте». С предложением активнее пользоваться дефиницией Р. Столлер выступил и в 1963 г. на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад о понятии социополового (или — как он назвал его — гендерного) самоосознания. Его концепция строилась на разделении биологического и культурного: «пол», считал Р. Столер, относится к биологии (гормоны, гены, нервная система, морфология),

а «гендер» — к культуре (психология, социология). См.: *Money J. Linguistic resources and psychodynamic theory*//British Journal of Medical Sexology. 1955. Vol. 20. P. 264–266; *Stoller R. Sex and Gender: on the Development of Masculinity and Femininity*. New York, 1968; *McIntosh M. Der Begriff "Gender"*//Argument. Bd. 190. Berlin, 1991. S. 845–860 (особенно с. 845–846).

⁸ См. подробнее: *Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание*. СПб., 2007.

⁹ *Батыгин Г. С., Девятко И. Ф. Миф о «качественной социологии»*//Социологический журнал. 1994. № 2. С. 28–42; *Козлова Н. Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или размышления о значимости методологической рефлексии*//Социс. 2000. № 9. С. 22–32.

¹⁰ Роберт Вильям Коннел — австралийский социолог (род. в 1944 г.), сменивший пол после того, как овдовел, и ставший женщиной с именем Рейвин Коннел. Работы Р. Коннел по социологии образования, гендерным исследованиям, политологии широко цитируются и используются социологами всего мира.

¹¹ *Connell R. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford, Calif., 1987.

¹² В социологии это сторонники «понимающей социологии», в философии — приверженцы классической германской феноменологии с ее понятием *Verstehen*, в науках о прошлом — те, кто работает в области биографической и микро-истории.

¹³ *Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII—начала XIX в.* СПб., 1994. С. 10.

¹⁴ *Лотман Ю. М. Клио на распутье*//Лотман Ю. М. Избранные труды. Таллин, 1996. Т. 1. С. 466.

¹⁵ *Linde Ch. Life Stories. The Creation of Coherence*. New York; Oxford, 1993.

¹⁶ *Labow W., Walecky J. Narrative Analysis. Oral Version of Personal Experience: Oral Versions of Personal Experience. Three Decades of Narrative Analysis*. 1997. Vol. 7: Narrative and Life History. Pp. 3–32.

¹⁷ *Women's Words. The Feminist Practice of Oral History*/Ed. by S. B. Gluck, D. Patai. Routledge, 1991; *Темкина А. Динамика сценариев сексуальности в автобиографиях современных российских женщин: опыт конструктивистского исследования сексуального удовольствия*//Гендерные тетради/Под ред. А. Клецина. Вып. 2. СПб, 1999. С. 20–54.

¹⁸ *Бойм С. Общие места*. М., 2002.

¹⁹ *Fürst J. Heroes, Lovers, Victims — Partisan Girls during the Great Fatherland War: An analysis of documents from the spetsotdel of the former Komsomol Archive*//Minerva: Quarterly Report on Women and the Military. 2000. Vol. XVIII. № 3–4. P. 38–75.

²⁰ *Никонова О. Ю. Женщины, война и «фигуры умолчания»*//Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 5.

²¹ См. подборку белорусских участниц проекта по гендерным особенностям исторической памяти (www.gender.ehu.by/memory/docs/interviews), а также: *Алексеичев С. У войны — не женское лицо*. Минск, 1985. С. 25–27.

²² *Квале С. Исследовательское интервью*. М., 2003.

²³ *Голофаст В. Б. Новые ветры в социологии*//http://www.pseudology.org/Golofast/Golofast_New_winds.htm

²⁴ *Cosslett T., Lury C., Summerfield P. Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods*. London, 2000.

²⁵ По мысли автора метода «плотного описания», К. Гирца, оно возможно только в свете определенной теории или группы теорий, позволяющих оценить ситуацию в целом. Только тогда собираемые «плотные описания» перестают быть «записками из бутылок», отрывочными фиксациями случайных фактов, только тогда собранное предстает не серией примеров, а разносторонним описанием факта, явления, ситуации (*Geertz C. The Interpretation of Cultures*. New York, 1973. P. 26).

²⁶ *Hammersley M., Atkinson P. Ethnography: Principles in Practice*. London, 1983; *Plummer K. Documents of Life: An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method*. London, 1983.

²⁷ *Ярская-Смирнова Е. П. Нарративный анализ в социологии*//Социс. 1997. № 3. С. 57.

²⁸ *Devault M. L. Talking and Listening from Women's Standpoint: Feminist Strategies for Interviewing and Analysis*//Social Problems. 1990. Vol. 37. № 1 (February). Pp. 96–116.

²⁹ *Козлова Н. Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или размышления о значимости методологической рефлексии*//Социс. 2000. № 9. С. 27.

³⁰ *Голофаст В. Б. Указ.соч.*

³¹ *Рейнхарц Ш. Феминистская устная история*//Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и практика. Сборник статей. Бишкек, 2001. С. 41.

³² *Итс Р. Ф. Введение в этнографию*. Л., 1991.

³³ *Триангуляция*//Национальная социологическая энциклопедия. <http://voluntary.ru/dictionary/577/word/%D2%F0%E8%Е0%ED%Е3%F3%EB%FF%F6%Е8%FF>

³⁴ Ср.: *Вайль П. Правда женского рода*//Российская газета. Федеральный выпуск. № 4673. 30 мая 2008 г.; *Воронина М. А. Это должно быть призванием. Женская устная история*//Гендерные исследования. Вып. 13. СПб., 2004. С. 47.

Natalia PUSHKAREVA

ORAL HISTORY: GENDER ASPECT

The article examines the particularities and characteristics of the development of two specific fields of historical and social sciences, oral history and women and gender history. The author underlines that oral history is not only an approach to the collection, documentation, interpretation, and presentation of histories, but is also used to excavate and preserve people's histories at the grassroots level. It's a form of alternative social history that lies outside of the realm of and censure by the state. Oral history compliments and supplements mainstream historical records by giving legitimacy to and enhancing the 'voices from below', and women's voices one can hear more clearly. This article looks at the possibilities of using oral history in women and gender studies, as an experimental and creative approach to teaching and developing the undergraduate courses in women and gender studies, the approach that empowers women by giving them voices. What are the possibilities and the limitations here? The author raises this and other questions in the hope to provide food for further thought.